





Книга I

СЕСТРЫ



О, Русская земля!..
«Слово о полку Игореве»

1

Сторонний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами захолустного переулка, попадая в Петербург, испытывал в минуты внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности.

Бродя по прямым и туманным улицам, мимо мрачных домов с темными окнами, с дремлющими дворниками у ворот, глядя подолгу на многоводный и хмурый простор Невы, на голубоватые линии мостов с зажженными еще до темноты фонарями, с колоннадами неуютных и нерадостных дворцов, с нерусской, пронзительной высотой Петропавловского собора, с бедными лодочками, ныряющими в темной воде, с бесчисленными барками сырых дров вдоль гранитных набережных, заглядывая в лица прохожих — озабоченные и бледные, с глазами, как городская мать, — видя и внимая всему этому, сторонний наблюдатель — благонамеренный — прятал голову поглубже в воротник, а неблагонамеренный начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой, разбить вдребезги это застывшее очарование.

Еще во времена Петра Первого дьячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста, спускаясь с колокольни, впотьмах увидел кикимору — худую бабу и простоволосую, — сильно испугался и затем кричал в кабаке: «Петербургу, мол, быть пусту», — за что был схвачен, пытан в Тайной канцелярии и бит кнутом нещадно.

Так с тех пор, должно быть, и повелось думать, что с Петербургом нечисто. То видели очевидцы, как по улице Васильевского острова ехал на извозчике черт. То в полночь, в бурю и высокую воду, сорвался с гранитной скалы и скакал по камням медный император. То к проезжему в карете тайному советнику липнул

к стеклу и приставал мертвец — мертвый чиновник. Много таких рассказней ходило по городу.

И совсем еще недавно поэт Алексей Алексеевич Бессонов, проезжая ночью на лихаче, по дороге на острова, горбатый мостик, увидел сквозь разорванные облака в бездне неба звезду и, глядя на нее сквозь слезы, подумал, что лихач, и нити фонарей, и весь за спиной его спящий Петербург — лишь мечта, бред, возникший в его голове, отуманенной вином, любовью и скукой.

Как сон, прошли два столетия: Петербург, стоящий на краю земли, в болотах и пусторослях, грезил безграничной славой и властью; бредовыми видениями мелькали дворцовые перевороты, убийства императоров, триумфы и кровавые казни; слабые женщины принимали полубожественную власть; из горячих и смятых постелей решались судьбы народов; приходили ражие парни, с могучим сложением и черными от земли руками, и смело поднимались к трону, чтобы разделить власть, ложе и византийскую роскошь.

С ужасом оглядывались соседи на эти бешеные взрывы фантазии. С унынием и страхом внимали русские люди бреду столицы. Страна питала и никогда не могла досыта напитать кровью своею петербургские призраки.

Петербург жил бурливо-холодной, пресыщенной, полуночной жизнью. Фосфорические летние ночи, сумасшедшие и сладострастные, и бессонные ночи зимой, зеленые столы и шорох золота, музыка, крутящиеся пары за окнами, бешеные тройки, цыгане, дуэли на рассвете, в свисте ледяного ветра и пронзительном завывании флейт — парад войскам перед наводящим ужас взглядом византийских глаз императора. — Так жил город.

В последнее десятилетие с невероятной быстротой создавались грандиозные предприятия. Возникали, как из воздуха, миллионные состояния. Из хрусталя и цемента строились банки, мюзик-холлы, скетинги, великолепные кабаки, где люди оглушались музыкой, отражением зеркал, полуобнаженными женщинами, светом, шампанским. Спешно открывались игорные клубы, дома свиданий, театры, кинематографы, лунные парки. Инженеры и капиталисты работали над проектом постройки новой, не виданной еще роскоши столицы, неподалеку от Петербурга, на необитаемом острове.

В городе была эпидемия самоубийств. Залы суда наполнялись толпами истерических женщин, жадно внимающих кровавым и возбуждающим процессам. Все было доступно — роскошь и женщины. Разврат проникал всюду, им был, как заразой, поражен дворец.

И во дворец, до императорского трона, дошел и, глумясь и

издеваясь, стал шельмовать над Россией неграмотный мужик с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой.

Петербург, как всякий город, жил единой жизнью, напряженной и озабоченной. Центральная сила руководила этим движением, но она не была слита с тем, что можно было назвать духом города: центральная сила стремилась создать порядок, спокойствие и целесообразность, дух города стремился разрушить эту силу. Дух разрушения был во всем, пропитывал смертельным ядом и грандиозные биржевые махинации знаменитого Сашки Сакельмана, и мрачную злобу рабочего на сталелитейном заводе, и вывихнутые мечты модной поэтессы, сидящей в пятом часу утра в артистическом подвале «Красные бубенцы», — и даже те, кому нужно было бороться с этим разрушением, сами того не понимая, делали все, чтобы усилить его и обострить.

То было время, когда любовь, чувства добрые и здоровые считались пошлостью и пережитком; никто не любил, но все жаждали и, как отравленные, припадали ко всему острому, раздрающему внутренности.

Девушки скрывали свою невинность, супруги — верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения — признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникавшие в один сезон из небытия. Люди выдумывали себе пороки и извращения, лишь бы не прослыть пресными.

Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, безлюбой любовью, надрывающими и бессильно-чувственными звуками танго — предсмертного гимна, — он жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвозвестники — новое и непонятное лезло изо всех щелей.

2

— ...Мы ничего не хотим помнить. Мы говорим: довольно, повернитесь к прошлому задом! Кто там у меня за спиной? Венера Милосская? А что — ее можно кушать? Или она способствуетращению волос? Я не понимаю, для чего мне нужна эта каменная туша? Но искусство, искусство, бррр! Вам все еще нравится щекотать себя этим понятием? Глядите по сторонам, вперед, под ноги. У вас на ногах американские башмаки! Да здравствуют американские башмаки! Вот искусство: красный автомобиль, гуттаперчевая шина, пуд бензину и сто верст в час. Это возбуждает меня пожирать пространство. Вот искусство: афиша в шестнадцать аршин, и на ней некий шикарный молодой человек в сияющем, как солнце, цилиндре. Это — портной, художник, гений

сегодняшнего дня! Я хочу пожирать жизнь, а вы меня потчуете сахарной водицей для страдающих половым бессилием...

В конце узкого зала, за стульями, где тесно стояла молодежь с курсов и университета, раздался смех и хлопки. Говоривший, Сергей Сергеевич Сапожков, усмехаясь влажным ртом, надвинул на большой нос прыгающее пенсне и бойко сошел по ступенькам большой дубовой кафедры.

Сбоку, за длинным столом, освещенным двумя пятисвечными канделябрами, сидели члены общества «Философские вечера». Здесь были и председатель общества, профессор богословия Антоновский, и сегодняшний докладчик — историк Вельяминов, и философ Борский, и лукавый писатель Сакунин.

Общество «Философские вечера» в эту зиму выдерживало сильный натиск со стороны мало кому известных, но зубастых молодых людей. Они нападали на маститых писателей и почтенных философов с такой яростью и говорили такие дерзкие и соблазнительные вещи, что старый особняк на Фонтанке, где помещалось общество, по субботам, в дни открытых заседаний, бывал переполнен.

Так было и сегодня. Когда Сапожков при рассыпавшихся хлопках исчез в толпе, на кафедру поднялся небольшого роста человек с шишковатым стриженным черепом, с молодым скуластым и желтым лицом — Акундин. Появился он здесь недавно, успех, в особенности в задних рядах зрительного зала, бывал у него огромный, и когда спрашивали: откуда и кто такой? — знающие люди загадочно улыбались. Во всяком случае, фамилия его была не Акундин, приехал он из-за границы и выступал неспроста.

Пошипывая редкую бородку, Акундин оглядел затихший зал, усмехнулся тонкой полоской губ и начал говорить.

В это время в третьем ряду кресел, у среднего прохода, подперев кулачком подбородок, сидела молодая девушка, в суконном черном платье, закрытом до шеи. Ее пепельные тонкие волосы были подняты над ушами, завернуты в большой узел и сколоты гребнем. Не шевелясь и не улыбаясь, она разглядывала сидящих за зеленым столом, иногда ее глаза подолгу останавливались на огоньках свечей.

Когда Акундин, стукнув по дубовой кафедре, воскликнул: «Мировая экономика наносит первый удар железного кулака по церковному куполу», — девушка вздохнула не сильно и, приняв кулачок от покрасневшего снизу подбородка, положила в рот карамель.

Акундин говорил:

— ...А вы все еще грезите туманными снами о царствии Божием на земле. А *он*, несмотря на все ваши усилия, продолжает спать. Или вы надеетесь, что *он* все-таки проснется и заговорит,

как валаамова ослица? Да, *он* проснется, но разбудят его не сладкие голоса ваших поэтов, не дым из каминов, — народ могут разбудить только фабричные свистки. Он проснется и заговорит, и голос его будет неприятен для слуха. Или вы надеетесь на ваши дебри и болота? Здесь можно подремать еще с полстолетия, верю. Но не называйте это мессианством. Это не то, что грядет, а то, что уходит. Здесь, в Петербурге, в этом великолепном зале, выдумали русского мужика. Написали о нем сотни томов и сочинили оперы. Боюсь, как бы эта забава не окончилась большой кровью...

Но здесь председатель остановил говорившего. Акундин слабо улыбнулся, вытащил из пиджака большой платок и вытер привычным движением череп и лицо. В конце зала раздались голоса:

— Пускай говорит!

— Безобразие закрывать человеку рот!

— Это издевательство!

— Тише вы, там, сзади!

— Сами вы тише!

Акундин продолжал:

— ...Русский мужик — точка приложения идей. Да. Но если эти идеи органически не связаны с его вековыми желаниями, с его первобытным понятием о справедливости, понятием всечеловеческим, то идеи падают, как семена на камень. И до тех пор, покуда не станут рассматривать русского мужика просто как человека с голодным желудком и натертым работою хребтом, покуда не лишат его наконец когда-то каким-то барином придуманных мессианских его особенностей, до тех пор будет трагически существовать два полюса: ваши великолепные идеи, рожденные в темноте кабинетов, и народ, о котором вы ничего не хотите знать... Мы здесь даже и не критикуем вас по существу. Было бы странно терять время на пересмотр этой феноменальной груды — человеческой фантазии. Нет. Мы говорим: спасайтесь, покуда не поздно. Ибо ваши идеи и ваши сокровища будут без сожаления выброшены в мусорный ящик истории...

Девушка в черном суконном платье не была расположена вдумываться в то, что говорилось с дубовой кафедры. Ей казалось, что все эти слова и споры, конечно, очень важны и многозначительны, но самое важное было иное, о чем эти люди не говорили...

За зеленым столом в это время появился новый человек. Он не спеша сел рядом с председателем, кивнул направо и налево, провел покрасневшей рукой по русым волосам, мокрым от снега, и, спрятав под стол руки, выпрямился, в очень узком черном сюртуке: худое матовое лицо, брови дугами, под ними, в тених, — огромные серые глаза, и волосы, падающие шапкой. Точно таким Алексей Алексеевич Бессонов был изображен в последнем номере еженедельного журнала.

Девушка не видела теперь ничего, кроме этого почти отталкивающе-красивого лица. Она словно с ужасом внимала этим странным чертам, так часто сновившимся ей в ветреные петербургские ночи.

Вот он, наклонив ухо к соседу, усмехнулся, и улыбка — простоватая, но в вырезках тонких ноздрей, в слишком женственных бровях, в какой-то особой нежной силе этого лица было вероломство, надменность и еще то, чего она понять не могла, но что волновало ее всего сильнее.

В это время докладчик Вельяминов, красный и бородатый, в золотых очках и с пучками золотисто-седых волос вокруг большого черепа, отвечал Акундину:

— Вы правы так же, как права лавина, когда обрушивается с гор. Мы давно ждем пришествия страшного века, предугадываем торжество вашей правды.

Вы овладеете стихией, а не мы. Но мы знаем, высшая справедливость, на завоевание которой вы скликаете фабричными гудками, окажется грудой обломков, хаосом, где будет бродить оглушенный человек. «Жажду» — вот что скажет он, потому что в нем самом не окажется ни капли божественной влаги. Берегитесь, — Вельяминов поднял длинный, как карандаш, палец и строго через очки посмотрел на ряды слушателей, — в раю, который вам грезится, во имя которого вы хотите превратить человека в живой механизм, в номер такой-то, — человека в номер, — в этом страшном раю грозит новая революция, самая страшная изо всех революций — революция Духа.

Акундин холодно проговорил с места:

— Человека в номер — это тоже идеализм.

Вельяминов развел над столом руками. Канделябр бросал блики на его лысину. Он стал говорить о грехе, куда отпадает мир, и о будущей страшной расплате. В зале покашливали.

Во время перерыва девушка пошла в буфетную и стояла у дверей, нахмуренная и независимая. Несколько присяжных поверенных с женами пили чай и громче, чем все люди, разговаривали. У печки знаменитый писатель, Чернобылин, ел рыбу с брусникой и поминутно оглядывался злыми пьяными глазами на проходящих. Две, средних лет, литературные дамы, с грязными шеями и большими бантами в волосах, жевали бутерброды у буфетного прилавка. В стороне, не смешиваясь со светскими, благообразно стояли батюшки. Под люстрой, заложив руки сзади под длинный сюртук, покачивался на каблуках полуседой человек с подчеркнута растрепанными волосами — Чирва — критик, ждал, когда к нему кто-нибудь подойдет. Появился Вельяминов; одна из литературных дам бросилась к нему, вцепилась в рукав. Другая литературная дама вдруг перестала жевать, отрях-

нула крошки, нагнула голову, расширила глаза. К ней подходил Бессонов, кланяясь направо и налево смиренным наклоном головы.

Девушка в черном всей своей кожей почувствовала, как подобралась под корсетом литературная дама. Бессонов говорил ей что-то с ленивой усмешкой. Она всплеснула полными руками и захохотала, подкатывая глаза.

Девушка дернула плечиком и пошла из буфета. Ее окликнули. Сквозь толпу к ней протискивался черноватый истощенный юноша, в бархатной куртке, радостно кивал, от удовольствия морщил нос и взял ее за руку. Его ладонь была влажная, и на лбу влажная прядь волос, и влажные длинные черные глаза засматривали с мокрой нежностью. Его звали Александр Иванович Жиров. Он сказал:

— Вот? Что вы тут делаете, Дарья Дмитриевна?

— То же, что и вы, — ответила она, освобождая руку, сунула ее в муфту и там вытерла о платок.

Он захихикал, глядя еще нежнее:

— Неужели и на этот раз вам не понравился Сапожков? Он говорил сегодня, как пророк. Вас раздражает его резкость и своеобразная манера выражаться. Но самая сущность его мысли — разве это не то, чего мы все втайне хотим, но сказать боимся? А он смеет. Вот:

Каждый молод, молод, молод.
В животе чертовский голод,
Будем лопать пустоту...

Необыкновенно, ново и смело, Дарья Дмитриевна, разве вы сами не чувствуете, — новое, новое прет! Наше, новое, жадное, смелое. Вот тоже и Акундин. Он слишком логичен, но как вбивает гвозди! Еще две, три такие зимы, — и все затрещит, полезет по швам, — очень хорошо!

Он говорил тихим голосом, сладко и нежно улыбаясь. Даша чувствовала, как все в нем дрожит мелкой дрожью, точно от ужасного возбуждения. Она не дослушала, кивнула головой и стала протискиваться к вешалке.

Сердитый швейцар с медалями, таская вороха шуб и калош, не обращал внимания на Дашин протянутый номерок. Ждать пришлось долго, в ноги дуло из пустых с махающими дверями сеней, где стояли рослые, в синих мокрых кафтанах, извозчики и весело и нагло предлагали выходящим:

— Вот на резвой, ваше сясь!

— Вот по пути, на Пески!

Вдруг за Дашиной спиной голос Бессонова проговорил резко и холодно:

— Швейцар, шубу, шапку и трость.

Даша почувствовала, как легонькие иголки пошли по спине. Она быстро повернула голову и прямо взглянула Бессонову в глаза. Он встретил ее взгляд спокойно, как должное, но затем веки его дрогнули, в серых глазах появилась живая влага, они словно подались, и Даша почувствовала, как у нее затрепетало сердце.

— Если не ошибаюсь, — проговорил он, наклоняясь к ней, — мы встречались у вашей сестры?

Даша сейчас же ответила дерзко:

— Да. Встречались.

Выдернула у швейцара шубу и побежала к парадным дверям. На улице мокрый и студеный ветер подхватил ее платье, обдал ржавыми каплями. Даша до глаз закуталась в меховой воротник. Кто-то, перегоняя, проговорил ей над ухом:

— Ай да глазки!

Даша быстро шла по мокрому асфальту, по зыбким полосам электрического света. Из распахнувшейся двери ресторана вырвались вопли скрипок — вальс. И Даша, не оглядываясь, пропела в косматый мех муфты:

— Ну, не так-то легко, не легко, не легко!

3

Расстегивая в прихожей мокрую шубу, Даша спросила у горничной:

— Дома никого нет, конечно?

Великий Могол — так называли горничную Лушу за широко-скулое, как у идола, сильно напудренное лицо, — глядя в зеркало, ответила тонким голосом, что барыни действительно дома нет, а барин дома, в кабинете, и ужинать будет через полчаса.

Даша прошла в гостиную, села у рояля, положила ногу на ногу и охватила колено.

Зять, Николай Иванович, дома, — значит, поссорился с женой, надутый и будет жаловаться. Сейчас — одиннадцать, и часов до трех, пока не заснешь, делать нечего. Читать, но что? И охоты нет. Просто сидеть, думать — себе дороже станет. Вот в самом деле как жить иногда неуютно.

Даша вздохнула, открыла крышку рояля и, сидя боком, одной рукою начала разбирать Скрябина. Трудновато приходится человеку в таком неудобном возрасте, как девятнадцать лет, да еще девушке, да еще очень и очень неглупой, да еще по нелепой

какой-то чистоплотности слишком суровой с теми, — а их было немало, — кто выражал охоту развеивать девичью скуку.

В прошлом году Даша приехала из Самары в Петербург на юридические курсы и поселилась у старшей сестры, Екатерины Дмитриевны Смоковниковой. Муж ее был адвокат, довольно известный; жили они шумно и широко.

Даша была моложе сестры лет на пять; когда Екатерина Дмитриевна выходила замуж, Даша была еще девочкой; последние годы сестры мало виделись, и теперь между ними начались новые отношения: у Даши влюбленные, у Екатерины Дмитриевны — нежно-любовные.

Первое время Даша подражала сестре во всем, восхищалась ее красотой, вкусами, умением вести себя с людьми. Перед Катинными знакомыми она робела, иным от застенчивости говорила дерзости. Екатерина Дмитриевна старалась, чтобы дом ее был всегда образцом вкуса и новизны, еще не ставшей достоянием улицы; она не пропускала ни одной выставки и покупала футуристические картины. В последний год из-за этого у нее происходили бурные разговоры с мужем, потому что Николай Иванович любил живопись идейную, а Екатерина Дмитриевна со всей женской пылкостью решила лучше пострадать за новое искусство, чем прослыть отсталой.

Даша тоже восхищалась этими странными картинами, развешанными в гостиной, хотя с огорчением думала иногда, что квадратные фигуры с геометрическими лицами, с большим, чем нужно, количеством рук и ног, глухие краски, как головная боль, — вся эта чугунная, циническая поэзия слишком высока для ее тупого воображения.

Каждый вторник у Смоковниковых, в столовой из птичьего глаза, собиралось к ужину шумное и веселое общество. Здесь были разговорчивые адвокаты, женолюбивые и внимательно следящие за литературными течениями; два или три журналиста, прекрасно понимающие, как нужно вести внутреннюю и внешнюю политику; нервно-расстроенный критик Чирва, подготавливавший очередную литературную катастрофу. Иногда спозаранку приходили молодые поэты, оставлявшие тетради со стихами в прихожей, в пальто. К началу ужина в гостиной появлялась какая-нибудь знаменитость, шла не спеша приложиться к хозяйке и с достоинством усаживалась в кресло. В середине ужина бывало слышно, как в прихожей с грохотом снимали кожаные калоши и бархатный голос произносил:

«Приветствую тебя, Великий Могол!» — и затем над стулом хозяйки склонялось бритое, с отвислыми жабрами, лицо любовника-резонера:

— Катюша, — лапку!

Главным человеком для Даши во время этих ужинов была сестра. Даша негодовала на тех, кто был мало внимателен к милой, доброй и простодушной Екатерине Дмитриевне, к тем же, кто бывал слишком внимателен, ревновала, — глядела на виноватого злыми глазами.

Понемногу она начала разбираться в этом кружащем непривычную голову множестве лиц. Помощников присяжных поверенных она теперь презирала: у них, кроме мохнатых визиток, лиловых галстуков да проборов через всю голову, ничего не было важного за душой. Любовника-резонера она ненавидела: он не имел права сестру звать Катей, Великого Могола — Великим Моголом, не имел никакого основания, выпивая рюмку водки, шурить отвислые глаза на Дашу и приговаривать:

«Пью за цветущий миндаль!»

Каждый раз при этом Даша задыхалась от злости.

Щеки у нее действительно были румяные, и ничем этот проклятый миндальный цвет согнать было нельзя, и Даша чувствовала себя за столом вроде деревянной матрешки.

На лето Даша не поехала к отцу в пыльную и знойную Самару, а с радостью согласилась остаться у сестры на взморье, в Сестрорецке. Там были те же люди, что и зимой, только все виделись чаще, катались на лодках, купались, ели мороженое в сосновом бору, слушали по вечерам музыку и шумно ужинали на веранде курзала, под звездами.

Екатерина Дмитриевна заказала Даше белое, вышитое гладью платье, большую шляпу из белого газа с черной лентой и широкий шелковый пояс, чтобы завязывать большим бантом на спине, и в Дашу неожиданно, точно ему вдруг раскрыли глаза, влюбился помощник зятя — Никанор Юрьевич Куличек.

Но он был из «презираемых». Даша возмутилась, позвала его в лес и там, не дав ему сказать в оправдание ни одного слова (он только вытирался платком, скомканным в кулаке), наговорила, что она не позволит смотреть на себя, как на какую-то «самку», что она возмущена, считает его личностью с развращенным воображением и сегодня же пожалуется зятю.

Зятю она нажаловалась в тот же вечер. Николай Иванович выслушал ее до конца, поглаживая холеную бороду и с удивлением взглядывая на миндальные от негодования Дашины щеки, на гневно дрожашую большую шляпу, на всю тонкую, беленькую Дашину фигуру, затем сел на песок у воды и начал хохотать, вынул платок, вытирал глаза, приговаривая:

— Уйди, Дарья, уйди, умру!

Даша ушла, ничего не понимая, смущенная и расстроенная. Куличек теперь не смел даже глядеть на нее, худел и уединялся. Дашина честь была спасена. Но вся эта история неожиданно

взволновала в ней девственно дремавшие чувства. Нарушилось тонкое равновесие, точно во всем Дашином теле, от волос до пяток, зачался какой-то второй человек, душевный, мечтательный, бесформенный и противный. Даша чувствовала его всей своей кожей и мучилась, как от нечистоты; ей хотелось смыть с себя эту невидимую паутину, вновь стать свежей, прохладной, легкой.

Теперь по целым часам она играла в теннис, по два раза на дню купалась, вставала ранним утром, когда на листьях еще горели большие капли росы, от лилового, как зеркало, моря шел пар и на пустой веранде расставляли влажные столы, мели сырые песчаные дорожки.

Но, пригревшись на солнышке или ночью в мягкой постели, второй человек оживал, осторожно пробирался к сердцу и сжимал его мягкой лапкой. Его нельзя было ни отодрать, ни смыть с себя, как кровь с заколдованного ключа Синей Бороды.

Все знакомые, а первая — сестра, стали находить, что Даша очень похорошела за это лето и словно хорошеет с каждым днем. Однажды Екатерина Дмитриевна, зайдя утром к сестре, сказала:

— Что же это с нами дальше-то будет?

— А что, Катя?

Даша в рубашке сидела на постели, закручивала большим узлом волосы.

— Уж очень хорошеешь, — что дальше-то будем делать?

Даша строгими, «мохнатыми» глазами поглядела на сестру и отвернулась. Ее щека и ухо залились румянцем.

— Катя, я не хочу, чтобы ты так говорила, мне это неприятно, — понимаешь?

Екатерина Дмитриевна села на кровать, щекою прижалась к Дашиной голой спине и засмеялась, целуя между лопатками.

— Какие мы рогатые уродились: ни в ерша, ни в ежа, ни в дикую кошку.

Однажды на теннисной площадке появился англичанин — худой, бритый, с выдающимся подбородком и детскими глазами. Одет он был до того безукоризненно, что несколько молодых людей из свиты Екатерины Дмитриевны впали в уныние. Даше он предложил партию и играл, как машина. Даше казалось, что он за все время ни разу на нее не взглянул — глядел мимо. Она проиграла и предложила вторую партию. Чтобы было ловчее, — засучила рукава белой блузки. Из-под пикейной ее шапочки выбилась прядь волос, она ее не поправляла. Отбивая сильным дрейфом над самой сеткой мяч, Даша думала:

«Вот ловкая русская девушка с неуловимой грацией во всех движениях, и румянец ей к лицу».

Англичанин выиграл и на этот раз, поклонился Даше — был